

18+

Бремя страстей человеческих

Лучшее из «Школы откровенности»

Хороший
ТЕКСТ
Альманах



Ирина Толстикова

**Бремя страстей
человеческих. Лучшее из
«Школы откровенности»**

«Издательские решения»

Толстикова И.

Бремя страстей человеческих. Лучшее из «Школы откровенности»
/ И. Толстикова — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-533577-7

Этот альманах представляет собой подборку лучших произведений авторов портала «Хороший текст», созданных в рамках конкурса «Школа откровенности»: Есть огромная разница между понятиями «обнажённая красавица» и «голая баба». А есть же ещё (воспользуемся известнейшей цитатой) и женщины с начисто содранной кожей. Так вот в нашем альманахе мы встретимся со всеми возможными типами эмоциональной наготы. Там есть и обнажённые красавицы, и просто раздетые женщины, и голые бабы, и люди без кожи. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-533577-7

© Толстикова И.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие от редакции	6
Предисловие от автора идеи	7
Страх	9
Надежда Антонова	9
Игорь Скориков	13
Галина Калинкина	15
Елена Панделис	17
Галина Гужвина	18
Марина Васильева	20
Исаак Розовский	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Бремя страстей человеческих Лучшее из «Школы откровенности»

Редактор Ирина Толстикова

Редактор Евгения Пищикова

Корректор Ирина Толстикова

Иллюстратор Мария Якушина

Составитель Надежда Антонова

© Мария Якушина, иллюстрации, 2021

ISBN 978-5-0053-3577-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие от редакции

Этот альманах представляет собой подборку лучших произведений авторов портала «Хороший текст», созданных для конкурса «Школа откровенности».

Само название «Школа откровенности» соединяет плохо сочетаемое. Если вы вспомните атмосферу в своей школе, то наверняка согласитесь с тем, что откровенность в подобных местах – спорный выбор. Но во многих из нас жива мечта о маленьком Хогвартсе, где смелость оценят столь же высоко, как и академическое рвение.

На одном из мозговых штурмов редакции портала «Хороший текст» писатель и журналист Евгения Пищикова предложила запустить серию конкурсов, в ходе которых авторы сайта будут рассказывать предельно честно о своих потаенных чувствах и мыслях. Идее тут же был дан ход. С января 2019 года мы провели восемь туров «Школы откровенности»: «Стыд», «Гордость и самоуважение», «Страсть», «Первый раз», «Страх», «Зависть», «Мечта» и «Искания».

К концу 2020-го года накопилось более сотни конкурсных текстов. Многие из них так хороши и отчаянны, что невозможно было не подарить им долгую жизнь в виде книги. Нам стало очевидным, что следующий альманах «Хорошего текста» станет своеобразным выпускным балом участников «Школы откровенности». Почти полтора месяца квалифицированные читатели портала, некогда успешно сдавшие весьма непростой и хитрый тест, отбирали из 126 рукописей конкурса 43 лучшие, достойные внимания широкого круга читателей. Результат перед вами – сборник «Бремя страстей человеческих» (название мы позаимствовали у британского писателя Уильяма Сомерсета Моэма – так он озаглавил один из своих самых известных романов).

В эпоху «новой искренности» социальные сети, казалось бы, дают нам безграничные возможности для того, чтобы и обрести полную прозрачность, и наблюдать её. Однако в большинстве своём виртуальные безутайства и бесстыдства лишены подлинной глубины, да и попросту скучны. А там, где встречаются скука и одномерность, как правило, присутствуют также ложь, трусость и недомыслие.

Мы верим, что можно научить людей отличать заурядное, пошлое, банальное от по-настоящему ценного. Мы думаем, что откровенности во всём богатстве значения этого слова – можно научиться. Главное – человек должен перестать бояться. Например, того, что он откроется, а его ударят, поранят его нутро. Но бояться не нужно. Вот просто – не нужно и всё, в этом нет необходимости, хотя бы потому, что это не даёт ни безопасности, ни облегчения.

Предисловие от автора идеи

«Школа откровенности» началась со слов поэта Дмитрия Воденникова, которые он сказал – так всем помнится – прямо на самом первом своём семинаре: «Стихи нужно писать такие, чтобы их было стыдно показать маме».

Есть и ещё одна версия этой хрестоматийной фразы – на сайте поэта. Там Дмитрий Борисович сформулировал мысль немного иначе:

«Стихи, которые можно показать маме, это не стихи».

Между этими двумя вариантами есть важное смысловое различие, и второй, хотя и безупречен по форме, зовёт к обсуждению.

Стихи – это обнажение, дело понятное. Голым показываться маме не хочется – хотя, вообще-то, чего она там не видела. Но та сила открытости и обнажения, о которой говорил Дмитрий, если она соединена с дарованием, делает стихи как раз защищёнными, назначает их литературой. Ну а литературу-то мама простит. Увидит волшебный зазор между «повседневным человеком», своим маленьким пирожочком и той большой мощью, которую пирожок транслирует в вечность, и извинит. А плохие стихи как раз мамам показывать не надо – им же вас жалко будет.

Но общий смысл высказывания ясен.

И с этих слов поэта, с вопроса – а что такое обнажение в литературном тексте – и началась школа.

Литература, грубо говоря, никакого отношения к откровенности не имеет. Тут так: либо откровенность, либо литература. Но нам захотелось рассмотреть откровенность как литературный приём, и школа началась. На Портале «Хороший текст» были проведены 8 конкурсов с названиями «Стыд», «Первый раз», «Страх» и т. д.

А сейчас перед вами плоды этих конкурсов – альманах, в который вошли лучшие, по мнению квалифицированных читателей, опыты обнажения. Это великолепное чтение, а этот альманах – один из самых интересных сборников текстов, которые появлялись в результате работы Портала «Хороший текст».

Но его надо, мне кажется, уметь прочесть.

Я вот о чём.

У каждого образованца из девяностых – а я именно такова – есть в друзьях батюшка. Клирик. Священнослужитель. Так уж складывалось время. Студенческая компания, все литераторы, у всех искания, на дворе эпоха разнообразных возможностей. И вот со своим другом-клириком мы как-то раз разговорились об исповедальности. И батюшка наш признался, что в период перемены участи был уверен, что получит опыт человекознатчества, не сравнимый ни с каким другим. Но – нет. Он сказал: «Только врачи в особом положении с этой точки зрения. Только в болезни у людей нет сил играть. Потому врачи и пишут». И рассказал историю. Пришла к нему как-то молодая женщина, скромно улыбнулась и сказала: «Отец Владимир, а это ничего, что я икону съела? Простится мне?».

Тут, разумеется, с отцом Владимиром происходят все мимические метаморфозы, приличествующие случаю. И глаза округляются, и кривая ухмылка морщит уста, и мелькают мысли о ЗОЖ последней стадии безумства.

Но молодая исповедальница рассказывает простую и понятную драматическую историю – начались схватки, муж повёз рожать, из Балашихи в Москву непролазная пробка, пока суд да дело, она зажала в зубах единственный обнаруженный под рукой компактный и твёрдый предмет. А иконки же нынче из фанеры и картона. Вот и съела, пока доехали.

Что вообще за разговоры – справедливо спросите вы. Как может действующий батюшка отступать от тайны исповеди?

«Я сразу понял, – говорил мне отец Владимир, – что происходит что-то не то. Передо мной была чётко выстроенная миниатюра с яркой литературной деталью. И точно – прихотливая оказалась модной сетевой писательницей, потом многократно описала и свой „грех“, этот случай, и свою „встречу“ со мной в разнообразных заметках и постах, исполненных смиренной гордости. Тем самым, разумеется, дезавуировала исповедь. И многочисленные её поклонницы и френды писали: „Героиня!“ „Бог видит, какой подвиг ты совершала“ и проч. Это съеденная икона и стала для меня символом работы: я привык к тому, что человек часто играет со мной и играет с собой, приходя ко мне. В лучшем случае передо мной не игра, а работа: человек работает с собой, над собой. Но это всегда – умышленная история. Но я научился, как все, видеть и чувствовать сквозь слова. Наверное, исповедь – это вообще не про слух, а про зрение».

Про – зрение.

Литература – это и работа над собой, и игра с собой, и ещё много всяких игр; и игра в откровенность и в обнажение, которую мы затеяли – одна из многих.

Тут важно именно вот что – какой сценарий обнажения мы выбираем? И выбираем – сознательно, или?

Есть огромная разница между понятиями «обнажённая красавица» и «голая баба». А есть же ещё (воспользуемся известнейшей цитатой) и женщины с начисто содранной кожей.

Так вот в нашем альманахе мы встретимся со всеми возможными типами эмоциональной наготы. Там есть и обнажённые красавицы, и просто раздетые женщины, и голые бабы, и люди без кожи.

Есть самолюбование и есть попытка прорваться к себе и что-то реально в себе понять. Есть ловко сделанные, но пустые рассказы, очевидно подставленные под конкурс, а есть простодушные, но честные вещи.

И именно поэтому эти тексты так интересны – они и сами по себе продолжение учёбы. Вы можете увидеть, как бессознательно выстраивается сценарий искренности психотерапевтического толка, а рядом автор с уже поставленным пером сам выбирает свой жанр литературной наготы.

Но все тексты очень хороши. Литературные вещи имеют свою ценность, а честные человеческие документы, как водится – бесценны.

А альманах тасует ценное и бесценное.

Евгения Пищикова

Страх

Надежда Антонова

Домой

Я иду по плохо освещённой улице. Осклизлая темень наполняет меня чем-то терпким и острым, похожим на озноб, как будто в подъезде выключили свет. Ты пытаешься нащупать перила лестницы и вдруг натыкаешься на чью-то руку. Переулок тянется редкими горящими фонарями, светящимися вечерними квадратами и прямоугольниками окон, пустыми скамейками. Вон пробежала собака, юркнула за угол дома, и опять никого. Во многих квартирах уже наступила ночь, и света от них не дождёшься.

А вон девочка за руку с женщиной. Они бегут и машут мне. Господи, что там у них? Наверное, надо свернуть куда-нибудь, переждать. Пусть сами, без меня. Но нет, я иду, как заговорённая. Вдруг им нужна помощь? Подхожу ближе. Это я, семилетняя, в зелёном пальто и синей шапке, убегаю с мамой от пьяного папы. В кармане у папы пустая бутылка из-под водки и шило. Он уже догоняет, вихляя отяжелевшим от алкоголя телом. У меня развязался шнурок. Грязный, истоптанный, он полощется в лужах под моей подошвой, как будто ему тоже стало трудно жить, и он напился. По ногам у меня течёт горячая струйка и, впитываясь в ткань, тяжелеет тёмным тёплым пятном на вельветовых штанах. Только бы не догнал. Нет, стоп, хватит! Я поворачиваюсь, жду, когда он подбежит совсем близко, и, не обращая внимания на стучащие друг о друга зубы, ору сквозь его алкогольный выхлоп: «Это всё из-за тебя, вся моя боль, моя похеренная жизнь, всё из-за тебя, сволочь! Ты мне никто, баран спившийся, тебя нет вообще! Уходи! Убирайся! Домой иди, проспись!» Он мнётся и вдруг становится жалким и заискивающим: «А нет у меня дома, доча, ничего не осталось. Было б куда идти – пошёл. А оградку ты уж мне покрась, ободранная стоит, не по-людски это. И цветочки хоть посади, уважь папку».

Я бегу, набирая полные ботинки воды из луж, случайно наступаю на собачье дерьмо, но уже не до хорошего. Открываю дверь в подъезд и застываю. Или забыли включить, или опять кто-то выкрутил лампочку. Мрази! Да точно выкрутили, сивухой какой-то несёт, пили на подоконнике и потом решили лампочку прихватить. Давно уже капитализм, а здесь живём, как при «совке», дом под снос, восемь лет никак новый построить не могут. Мобильник сел, посветить нечем. Из глаз течёт. Нет, нет, нет! Прорываюсь вверх по лестнице, запинаясь о ступеньку, падаю на что-то упругое и брезентовое на ощупь. На кого-то. Визжу и пытаюсь встать, но снова падаю.

Доча, ну ты и вымахала! Пряма лошадушка целая, аж тяжело. Да ты не помнишь, что ли? Кто с твоим папкой захочет связываться? Тебя из здешних никто не обидит. Иди, давай, домой. И ничего не бойся!

Если позовут

– Же-е-ень, Же-е-ень.

Вскакиваю, на ощупь открываю дверь, иду в её комнату. Около стеллажа с книгами понимаю, что этого уже не может быть. Ночью до сих пор иногда слышу её голос. Быстро, чтобы не накатил крупная дрожь, включаю свет. Не может, смотри. Вместо её кровати у стены новый коричневый диван с двумя валиками того же цвета. Почти не пахнет лекарствами, мазями и мочой. На стене её фотография. Сколько ей тут, лет тридцать пять? Её все очень любили. Красивых легко любить. Один раз они с дедом возвращались из Москвы поездом, и какой-то

пьяненький попутчик сказал про неё: «Богородица едет». Они ещё тогда посмеялись. Ну какая Богородица в Советском Союзе? Спортсменка, комсомолка, да. Но Богородица?

А это там у неё что между ног? Это матка так выпала? А почему не оперировали? Я не много вопросов задаю, я помочь пытаюсь бабушке вашей. У неё шейка бедра сломана, вот я и осматриваю все сопряжённые области. Упала дома? Споткнулась или качнуло? А с ногами почему запустили? Понимаю, что тромбофлебит, но такая стадия, можно было инъекциями попробовать устранить или операцию. Из-за сердца не делали? Так сейчас, конечно, нет, восемьдесят семь уже. А раньше почему не спохватились? Феназепамчик даёте? Оставляем, по одной таблетке три раза в день. Ест? Стул регулярный? Бульончик ей поварите куриный, каши.

В морг решено не увозить. Бабушка старенькая, семья благополучная, можно и без вскрытия. Обмоете ведь сами? Даже если не делали, там несложно. Тазик с водой, да, обычной, нальёте и губкой для мытья посуды или тряпочкой чистенькой. Одежду приготовили заранее? Если тяжело будет надевать, то на спинке разрезать и впереди в рукава вдеть, а потом подоткнуть. Нет? Ну как хотите, так просто иногда делают, чтобы не мучиться через голову.

– А ещё можно умываться тёплым молоком. И лицо всегда только специальным кремом.

– Ба, да какая разница? У них состав примерно одинаковый, что у «Детского», что у этого. Главное, чтобы не шелушилось ведь.

– В пятнадцать никакой, но тебе когда-нибудь будет и двадцать, и тридцать, и даже пятьдесят.

– Нет уж, я не доживу. Лучше умереть молодой.

– Дурочка, типун тебе на язык, мажь давай.

Смоченная в воде губка проходит по лицу, шее, груди, животу, опять по лицу. Опять по лицу не надо, после живота только вниз, в ноги, в землю.

Я гашу свет. Иду по коридору, останавливаюсь около маминой комнаты, приоткрываю дверь. Завернулась в одеяло с головой, оставив щель для носа. Она не выключает настольную лампу, чтобы ночью не запнуться о пуфик и не упасть, если позовут.

Если бы Майер, Рокитанский, Кустер и Хаузер знали

– Вы знаете, почему у вас нет месячных? У вас отсутствует матка.

Конечно, я ни о чём не знаю. Мне пятнадцать лет, у меня никогда не было мужчины. Я кресла-то этого боюсь. По щекам у меня начинает течь.

– Тихо, тихо. Вера, накапайте валерьянки и позовите мать.

Входит мама. Я бросаюсь к ней и прерывисто шепчу:

– Я дефективная, я не женщина, у меня не будет детей.

Мама растерянно обнимает меня и гладит по голове. Гинеколог протягивает маленький пластиковый стаканчик с мутной вонючей жидкостью.

– На, выпей. Я тебе этого не говорила. Ты вполне себе женщина, у тебя присутствует влагалище. Если его чуть-чуть подрастянуть, сможешь заниматься вагинальным сексом. Не с жеребцом, конечно, но небольшой член легко поместится. И детей ты тоже при желании заведёшь. Яичники у тебя есть, значит, воспользуешься услугами суррогатной мамочки. Не надо так страшно плакать.

Гинеколог только что пот со лба не вытирает, испугалась, похоже, моей реакции. Мама застыла, её рука замерла у меня на затылке. Гинеколог смотрит на нас и на шумном выдохе продолжает:

– У вашей дочери МРКХ, синдром Майера – Рокитанского – Кустера – Хаузера. У неё нет матки. Редкий случай, примерно один на четыре с половиной тысячи. Это не болезнь. Полина может вести половую жизнь и испытывать удовольствие. Про материнство я уже сказала.

Я чувствую, как мама тяжело дышит. Отрываю лицо от её плеча и вижу мамины плотно сжатые губы.

– Когда она её лишилась?

Гинеколог вздыхает и разводит руками.

– У неё её вообще не было, так сформировался плод.

– Значит, это я виновата?

У мамы начинает дёргаться щека. Гинеколог поворачивается к медсестре:

– Вера, ещё валерьянки.

Потом она поворачивается к нам:

– Да не виноваты вы ни в чём. Никто не виноват. Так почему-то повёл себя организм вашего ребёнка на этапе внутриутробного развития. Выпейте.

Гинеколог протягивает маме стаканчик, такой же, как у меня. Запах, уже немного выветрившийся, опять резко бьёт мне в нос. Мама опрокидывает валерьянку в себя скорбно и бездумно, как стопку водки на поминках, и долго смотрит на лоток с простерилизованными гинекологическими инструментами.

– Поль, есть прокладка? Полилось, а я думала, только завтра.

С Катькой мы вместе ходили в детский сад, писали в один горшок, потом в школе сидели вдвоём за первой партой, я делала оба варианта на контрольных по алгебре, а она по химии. В лагерь на лето нам родители всегда сразу брали две путёвки. Но даже ей, даже ей сейчас я не могу сказать! Я тихо подхожу к Юле Берестовой. Я знаю, что есть, я вчера после неё заходила в кабинку. Юля мнётся, но даёт. Я иду к Катке и сую ей контрабандную Always. Моя рука мелко дрожит, но Катка этого не замечает.

– Я недоженщина, я недоженщина.

Я полулежу в горячей, подкрашенной розовой, приятно пахнувшей солью для ванн, воде. Одна нога закинута на стену, другая свисает с белого бортика, с мокрой ступни на коврик капает. Если бы я знала, какая она на ощупь... Вдруг они ошиблись?

– Мне надо с тобой поговорить. Это серьёзно.

Ни один человек ещё не вызывал во мне такого светлого и сильного желания. Ни с кем мне так не хотелось распластаться, раскрыться, впустить в себя, в свою нехоженность. Это теперь его, не моё. Мне не надо ему рассказывать, не надо его оскорблять. Как будет чувствовать себя мужчина, если узнает, что его девушка – некомплект, русалка, силиконовая кукла? Три отверстия, вставляй в какое хочешь, разницы нет. Она всё равно не сможет родить ребёнка. Возьмёт и скажет: «Мне здесь делать нечего». И уйдёт. Но смолчать – значит оскорбить ещё больше.

– Я что-то сделал не так? Ты влюбилась?

Боже, да что он в самом деле!

– Нет, конечно, нет. О другом.

Молчит.

– Хорошо. Где и во сколько?

Мы идём по Космодамианской набережной. Он здесь недалеко работает и, смеясь, говорит, что многие называют эту набережную Космодемьянской, в честь Зои, видимо.

– Что ты хотела сказать?

Он не сделал никакого перехода, и от неожиданности я спотыкаюсь и чуть не падаю. Он поддерживает меня под локоть, поворачивает к себе лицом и в упор смотрит. Мне кажется, что я стою на вышке в бассейне; мне надо набрать воздуха в лёгкие, прыгнуть, сгруппироваться и мягко войти в воду. Но я не могу. Я не женщина, у меня нет матки, я не смогу родить тебе детей. Я не могу. Он смотрит. Я не женщина, у меня нет матки, я не только не смогу родить тебе детей, я даже не знаю, как мы будем заниматься сексом. Но с тобой я готова делать это

как угодно: в рот, в задницу, в нерастянутое влагалище. Если тебе понадобится нормальная полноценная женщина, пусть. Я буду лежать рядом и смотреть на вас. Я просто буду держать тебя за руку и кончать.

– Ты чем-то болеешь?

Болею! Это хуже, чем болею. Больной может выздороветь, я не выздоровлю никогда. Я подхожу к самому краю, доска под ногами начинает колебаться. Я закрываю глаза.

– У меня МРКХ. Синдром Майера – Рокитанского – Кустера – Хаузера. У меня нет матки и у меня маленькое влагалище. У меня не идут месячные и никогда не будет детей, возможно только суррогатное материнство. И со мной сложно заниматься вагинальным сексом.

Я открываю глаза. Прозрачная зеленоватая вода бассейна пахнет хлоркой. Она не такая холодная, как я ожидала, но я не хочу всплывать на поверхность, а воздух в лёгких скоро кончится.

– Как ты там сказала их зовут? Майер, Хаузер, Рокитанский?

– Кустер ещё.

– Ага, понял. Не знаю таких.

Под водой нельзя смеяться, потому что расходуется последний воздух, а в нос заливается вода. Но я смеюсь. Он улыбается, как ребёнок, которому подарили щенка.

– Это всё?

Я киваю и начинаю отмахиваться от окружившей меня плотным кольцом воды.

– Они ведь на нашу свадьбу не придут, эти четверо? Кустер мне особенно не нравится.

Он неуверенно протягивает ко мне руку, бережно гладит по волосам, осторожно проводит большим пальцем по моей мокрой щеке.

Я поднимаю лицо вверх к солнцу и делаю первый вдох.

Игорь Скориков

Взгляд

Тридцатилетним, психически здоровым человеком я боялся детей. До тошноты, до оцепенения. От предстоящей встречи с ними стылый ужас крался к горлу. Из-за этого все-рьёз думал расстаться с любимой профессией, когда стало заметно. Нет-нет, опустите брови, не детей вообще, но детей как пациентов. И началось всё после одного случая, а вернее – одного взгляда. Вам случалось когда-нибудь испугаться человеческого взгляда, направленного прямо в зрачки? Не инопланетного взгляда Чужого со слюнявой пастью, обернувшегося к вам с экрана, не жутких очей, угаданных из-под опущенных волос девочки-привидения. А просто взгляда в упор чужого человека. Постараюсь вам о таком рассказать, хотя сейчас вряд ли удастся передать все сполна о коротком, сумрачном периоде жизни, когда это чувство безраздельно и всласть распоряжалось мной.

Вызов в ожоговый центр ночью, да ещё к ребёнку – огромная ответственность, это вам каждый бывалый скажет. А я таким себя уже считал спустя шесть лет после интернатуры и как большинство с таким стажем, шёл на вызов с воодушевлением. С чувством – я могу.

Трёхлетнюю Сашу с сорока процентами ожогов пришлось взять в операционную. Нужно было заново ставить подключичный катетер для переливания плазмы – старый внезапно забился. Обварившаяся кипятком Саша давно лежала в центре, перевязок под наркозом перенесла десятки, и в эту ночь заплакала негромко, едва её переложили на каталку. Мать поцеловала дочку в воспалённую щеку, зажала свой плач рукой. После инъекции маленькая мученица уснула. «Живого» места для катетера на перебинтованном теле оставалось совсем немного, квадратик – два на два сантиметра. В него я осторожно и проник специальной иглой с присоединённым шприцем. В интернатуре нас учили хорошо, практики было много, годы работы довели движения рук до того автоматизма, который дарит уверенность. И вот оно, радостное: кровь под напором поступает в шприц! Значит, я в вене, и теперь только провести по игле катетер. Но кровь алая. Совсем рядом с веной лежит артерия, и я попал в неё. Сейчас нужно выйти иглой, прижать и подождать, потом снова искать вену, в артерию не ставят катетер. Такие ошибки случаются, описаны и имеют свою статистику, они неминуемы у всех с разной частотой. Прижал тампоном возле тонкой шеи и долго держал. Вдруг спящая Саша стала хватать воздух посиневшими губами. Излившаяся внутрь кровь сдавила трахею. В три секунды я взмок от макушки донизу, этого хватило, чтобы собрать остатки воли. Проклинаю свою неосторожность, быстро перевёл Сашу на аппаратное дыхание, потом удачно поставил катетер с другой стороны. Большую для ребёнка гематому убрали, и через три часа девочку уже в сознании, со стабильными показателями вывозили в палату. Янтарного цвета плазма капала в вену.

Как только открылась дверь операционной, из темноты коридора ко мне выбежала зарёванная мать, и мы встретились глазами. От её взгляда никогда раньше не испытанным холодом сдавило в груди, а ноги предали, отказываясь идти. Я воочию представил себе, что было бы, вывези мы сейчас труп Саши. Из этого взгляда-гильотины родился мой кошмар наяву, омерзительными лапками заторопился за пазуху. Пролетели перед встревоженной памятью недавние дни и ночи, проведённые у собственного сына в детской реанимации, когда он чуть не погиб от сепсиса. Только теперь это было другое: ещё три часа назад я, врач, мог стать невольным убийцей её дочери. Её. Любимой. Дочери. Это было до того ясно ощутимо и физически непереносимо, что дальше я уже почти не слышал слов благодарности, не видел слёз облегчения – передо мной двигались фигуры и звучали приглушённо какие-то голоса.

Хуже всего, когда в работе начинается мандраж. Ожидание неудачи. Страх ошибки наползает, как гнусный оборотень в паутине из подвалов памяти. Скалится, превращаясь

в позорный озноб, во влажные ладони от известия о смертельном осложнении на наркозе из другой клиники. Ждёшь неминуемого подтверждения закона парности у себя. А когда он внезапно настигает кого-то, малодушно успокаиваешься – хорошо, опять пронесло. Начинаешь «дуть на холодную воду», лишний раз перестраховываться, не доверять анализам, коллегам, пациентам. Всем. Самое пакостное – себе. Та работа, которую делал годами, сотни раз в срочном порядке днём и ночью, и чуть ли не с закрытыми глазами – теперь кажется сулящей кучу осложнений. Дома за рюмкой иногда хочется договориться с незваной трусостью, вспомнить тех, кого удалось спасти, реанимировать, выходить. По ночам внутренний, истощающий, никому не нужный монолог, в котором нет просвета, нет выхода разрушает привычные смыслы. Я менялся с коллегами операционными, консультациями и дежурствами, вызывал заведующего или кураторов кафедры, хотел уволиться – лишь бы не идти на наркозы у детей.

Спасли обстоятельства. Жизнь сложилась так, что пришлось уехать в другую страну, там я выбрал клинику, где дети появлялись только в роли посетителей. Занимался обезболиванием родов, о чём мечтал ещё в институте. И всё со временем стёрлось. Говорят: «Страху в глаза гляди, не смигни, а смигнёшь – пропадёшь...» Такой взгляд.

Галина Калинкина

Коростелий страх

Старушка «Вольво» мчит по трассе. За рулём гонщик, так пояснил про водителя Кораблик. На вызовы по обезвреживанию неопознанных взрывных устройств их экипаж гоняет только с ним. Валя и её муж впечатались друг в друга на заднем сидении. Сколько же не видела их: Корабля и Валюшку, свидетелей давней истории некоммуникабельности чувств двух глупых, гордых людей.

Кораблик также мешковат, только лицом сер. После дежурства. Опять ночью в городе вскрыли «шутиху», и об этом не напишут в прайм-тайм. И вместо положенного сна едет на опознание тела пропавшего друга. Валюшка, как прежде, в роговых очках. Её клетчатой юбке сколько от Рождества Христова? Валюшкин муж, красавчик и редкостный зануда. Бабы за такими бегают, а тут, поди, вцепился в Вальку и в рот ей смотрит.

Про Гарика говорят скупое. Кто, когда видел в последний раз. Слово «последний» царапает горло сильнее, чем могла представить. Его нет ни у «белой вдовы», ни у «чёрной», так весело Валюшка зовёт двух снох. «Чёрная» – покинутая. «Белая» – нынешняя – уехала на праздники в Украину. Пропал Гарик в начале праздников, накануне позвонив матери, что едет к ней картошку сажать. Господи, они ещё сажают картошку. Не приехал. Мать подняла тревогу. Неделя поисков. Завтра должна вернуться украинка. На работе на хорошем счету. Занимает, отдаёт. В командировку не направляли.

«Вольво» съехала на бетонку. По гравийной просеке подобрались к жёлтому зданию РОВД, вытянутому вдоль «железки».

Дежурный спит. Мрачный коридор без лампочек. Дверь клозета настежь. Внутри по ржавчине ямы неостановимо журчит ручей. Пошли на стук в конец коридора. Классическая сцена. В кабинете за столом двое: майор и капитан дубасят сушёной таранью о столешницу, тоненько звенят две пустые поллитровки. Майор обвёл взглядом пятерых вошедших, не сфокусировался. Трое сели на стулья у стены, Кораблик встал у притолоки, я в дверях.

– Опять?!

– Товарищ офицер, покажите.

Майор надулся, побагровел.

– Вон все. С ней буду говорить.

Трое прошли мимо меня, потом выскочил капитан. Кораблик остался за дверью.

– Будешь?

– Нет.

– Ты знаешь, что они вчера опознавали?

– Нет.

– Не признали своего жмурика. Вот эта, сестра пропавшего, была. Вчера патологоанатом дежурил. Разыскиваемый тебе кто?

– Бывший.

Майор качнулся грузным телом к сейфу, достал ключи. Кораблик и правда караулил за дверью. Остальные курили с капитаном у дежурки. Дневальный спал.

До морга, одноэтажного здания с полуподвальным входом, шагов с десять. Остановившись у железной двери покойницкой, запертой на засов с навесным замком, майор сцепился с Валюшкой: отворять без медиков мертвецкую не положено. За Валюшку вступился муж. Майора поддержал капитан. Кораблик встал на сторону друзей. Образовался круг орущих друг на друга. Круг сужался. И вот-вот началась бы рукопашная. Я завизжала:

– Заткнитесь все.

Тишина и треск коростели в иве: крекс-крекс, крекс, фекс, пекс.

Майор с отдышкой спросил:

– Кто пойдёт?

Валюшка спряталась за плечо мужа. Муж отступил на шаг.

– Я.

Намотала подол на кулак и прошла за капитаном.

– Направо не ходи. Ваш в сенях лежит, мест нету.

Стала спускаться вниз.

– Свет включите.

– А включил уже. Вот так лучше будет.

И капитан захлопнул дверь. Со скрежетом и лязгом. Я смогла рассмотреть неспелую свещающуюся грушу под потолком. Здесь было тихо, прохладно и темно, как в море. Так я и есть в море. Последняя ступень. Направо проём без двери. И там горит пятисвечка под сводом, видны полки с кулями. Не смотреть. Наш в «сенях». Я сделала шаг и упёрлась мыском во что-то мягкое и твёрдое одновременно. Не подушка и не бетонная плита. Слева вдоль стены на деревянных полатях вповалку спали люди. Справа полков не было, только открытый проём в комнату забытых вещей. Я переступила мягко-твёрдое и, упустив подол из кулака, увидела лицо у куля на полу. Женщина-бомж взглянула с пола мне в переносицу. Дальше я переступала через кули осторожнее, стараясь не будить спавших. Вот старик с бородой-клинышком, вот молодой парень, ноги голые. Ногти и пальцы совсем не похожи. Или я уже не помню ног Гарика? Дальше карлик. Ещё дальше полная благообразная старуха. Что за компания? Нет здесь нашего. Запах сладковато-мучорный. И шаг глухой, без эха. Сейчас кто-то: старик, женщина-бомж, карлик или парень схватят за ногу и не вырвешься. Где же Гарик? Кажется, голые руки мои похожи на недубленую кожу кошелька с крупными пупырышками, кажется, на спине по вырезу проросла щетина и вздыбилась. Карлик не отпускает моего взгляда. Я наклоняюсь над ним, ближе, ближе. Гарик не смотрит на меня. Он вообще никуда не смотрит. Может быть, только внутрь себя. И лицо его мучительно сжалось, так и застыло с выражением муки. А мать ведь ждёт картошку сажать. Руки вытянуты вдоль тела. А туловище разрезано пополам. И нижняя часть с ногами подложена под верхнюю, для компактности. Из живота сразу торчат голени и ступни в белых носках. Один ботинок надет, другого нет. Ещё секунда – и Гарик узнает меня, как я его узнала, схватит за подол и уже не отпустит. Щетина со спины переползает по макушке мне на виски.

– Эй, ты там?

Я не сразу понимаю, что через лязг двери окликают меня. И голос Кораблика, который шурится на пороге, напоминает, что я живу в мире неспящих. Я разворачиваюсь, перешагиваю через старуху, парня, старика, женщину-бомжа, взлетаю по ступеням без счёта и попадаю в тёплые объятия.

Солнце режет глаза. Люди с сердитыми, ждущими лицами уставились на меня, на подол, зачерпнувший из лужи.

– Ваш?

– Наш.

И рыданье Валюшки. И чертыхание капитана, и матюги майора.

И шаги Кораблика вниз по лестнице к другу.

И треск коростели в иве: крекс-крекс, крекс, пекс, фекс.

Елена Панделис

Белый и чёрный

Я иду по трубе, перекинутой через строительный котлован. Он наверняка глубокий – его вырыли для фундамента высотного дома – а весна заполнила его синей апрельской водой. У меня сегодня день рождения, и вечером придут гости. Солнечно и голо. Земля беззащитна в апреле, как и мои тринадцать лет. Я в ожидании праздника, и чтобы занять время, которое само тянет себя за хвост, я вышла погулять с подружкой. Мне не терпится *вступить на путь судьбы*. Я в кураже: "А слабо пройти по трубе?" И, не дождавшись ответа, иду на зов незнакомой призывной мелодии. Я не ощущаю тела, лишь холод за спиной. Ледяное пространство страха схлопывается за мной – в детстве страх всегда сзади. Не обернуться, не развернуться – нет пути назад. Я делаю пару шагов вперед и вижу: там, за котлованом, идёт с работы в своём модном болоньевом плаще мама. Спешит, идет быстро, легко, почти летит, ведь у меня день рождения. Я делаю ещё пару шагов, как хороший танцор, не чувствуя ног, и вот я уже на середине трубы. Мама остановилась, замерла. Я не смотрю ей в глаза. Я знаю – в её глазах чёрный смертельный страх, и этот страх сильнее моего, и на это нельзя смотреть. Будто вижу себя летящей в ледяной пустоте. Одна, никого вокруг. Только я и мой детский белый страх за спиной.

Прошли годы, и однажды к маме прилетела птица смерти. Сначала долго присматривалась, примеривалась, пританцовывала, а потом закружила маму в своём страшном жестоком танце: глаза в глаза, рука в руке. И я увидела мамин страх, страх перед тем, что впереди. Она вглядывалась, она долго и пристально смотрела вперёд, в бездну. Но в мои глаза она старалась не смотреть. Мой страх за неё, мой чёрный страх за неё – пусть он и не был сильнее её страха смерти – был бы ей уже не по силам. И она не смотрела. Она уходила. Одна. Мне казалось, что одна.

Часто страх возникает из ничего. Китайская живопись, простой пейзаж: крестьянин мирно работает в поле, облако неспешно плывёт по небу, вершины гор белеют вдалеке, дорога ведет к ясному горизонту. Отчего холод за спиной, почему страшит дорога, ведущая вперёд? В картине есть «*великая пустота*», портал в бездну, и, если приглядеться – в небе над дорогой летит тот, кто сорвался, не дошёл, кого в этой реальности быть не может. И в этом мистическом иррациональном страхе есть и танец смерти, и полет над бездной. И ещё, когда я играю так нелюбимую в детстве «Болезнь куклы», то в тринадцатом такте я всегда чуть замедляю темп, будто холодом подмораживает пальцы. И ещё, когда звучит в любимом фильме незатейливая песенка далекого 1926 года. И ещё, и ещё. И ещё.

Галина Гужвина

Как у пташки крылья

...в «Птицу», Der Bunte Vogel, мы поехали сразу после. С неба то хлестало, то слабо, струйками старческой мочи стекало по прорезиненной броне дождевиков, но у Фогеля под крыльцом, промеж свальным грехом занятых велосипедов, было потно, накурено, неряшливо и шумно от пивного, немецкого, студенческого ржания. «Швайны вы, швайны!» – картезиански обозначил себя настоящего Стефан, лихо, плотно в стену, припарковался, натянул на пшеничные кудри твидовую копполу, бросил мне деловито: «У тебя что под свитером? Лифчик или топ? Нам сейчас нужно больше секса!» – потом рванул дверь, принял меня, полураздетую, дрожащую, спотыкающуюся, в объятия, и мы застыли, он рабоче, я, несмотря ни на что, блаженно, – пока голова у меня не перестала кружиться, пока телесная жадность не вступила в свои права, пока нас хорошенько не заметили, не запомнили буянящие у бара студиязусы. После трёх мартини на нос мы примерно зажигали оба: Стефан лапал долговязую, в дирндле и крыльях на лопатках блондинку, я, отчаянно ревнуя, глупо сравнивая её с собой, прижималась к смуглому, тонкокостно-мускулистому то ли итальянцу, то ли турку, ритмично, под грохочущий Раммштайн ёрзала, елозила, провоцировала, пока воспламенившийся южанин не увлёк меня с танцпола в какой-то закуток, не полез, опасно потяжелев джинсовым гульфиком, мне под топ, не получил, возбуждённый и беззащитный, по морде от вовремя протрезвевшего Стефана. К машине мы бежали, хохоча, держась за руки, бросив кассирше полсотни и пообещав, что с утра вернёмся за сдачей, я сломала и скинула в лужу каблук, кто-то из средиземной группы поддержки неудачливого пикапера швырнул нам вслед кружкой с пивом. Кружка разбилась о стену над крышей моего Клио, пивная пена сползла по барочным кирпичам. То пятно за многие годы не смыли ни дожди, ни добросовестные вестфальские дворники, оно всё ещё мозолит глаза, без всякой логики напоминая не череп, нет, и незнакомый профиль, но член. Грустно поникший член.

...Я не чувствовала тогда ни усталости, ни подавленности, одно вожделение, лихорадочное, безудержное, – и бездумную радость его удовлетворения. Той ночью всё было можно, вежливая сдержанность прежних наших со Стефаном встреч, мои осторожность и тщательно культивируемая ненавязчивость – были отброшены за ненадобностью, Стефан сам отдал себя мне во власть, всем своим поджарым нормандским телом, холодным своим и насмешливым, Парижем отточенным умом, и я этим пользовалась. Через неделю мы съехались. Через месяц, затащив меня в какую-то ювелирную лавку в Амстердаме, где мы заимели обыкновение проводить выходные, он купил мне кольцо с одиннадцатью бриллиантами. Ещё через месяц, в городской ратуше, под сиреной, василиском и драконом, символами лжи и смерти, нас сочетали законным, на всей территории Евросоюза действительным браком, проиграв на колоколах небыденный в таких случаях Гимн Вестфальскому миру, но «Гаудеамус» и «Оду к Радости». «В кои-то веки внутреннюю университетскую свадьбу справляем! – благодушествовал, багровел придушенной галстукон шеей завкафедрой Рюк. – Все, все наши здесь, ведь все?» Стефан скользнул рукой по моему полуприкрытому тонким кружевом плечу, впился мне в рот сладким, только что шампанского пригубившим поцелуем. Страха – не было, не было ни беспокойства, ни простого даже любопытства к тому, что думали на кафедре о долго не дававшем о себе знать постдоке и думали ли вообще, и даже местную криминальную хронику; закрутившись в подготовке к свадьбе, я читала по утрам с небрежной скукой. Боровский распался, растворился в пропитанной дождём вестфальской земле, слился с её зеленью, пошёл на откорм её улиток – и никто о нём не вспоминал, никому не было до него дела.

...Потом были Париж, и Оксфорд, и Чикаго, и два чудных, на мультфильм Иванова-Вано похожих года в бразильском Сальвадоре, в самом центре которого, на одной из горбатых, лоскутьями ярких фасадов занавешенных улочек Пелууриньо родились наши со Стефаном дети, раньше выучившиеся плавать, чем ходить, на всю жизнь сохранившие на коже ласку мелкого, как звёздная пыль, сальвадорского песка, дара Иеманджи. Было везенье, и встречи, и люди, и всегда невозможно одновременные рабочие контракты – вплоть до последнего, постоянного, в зелёной, мягко холмистой, пропитанной историей французской провинции. Страх не было, не было даже тогда, когда мы прочитали в Алльгемайне о жуткой находке в одном из сомами и карпами кишаших каналов вестфальского Версаля, копии Хет Лоо – череп, одна бедренная и две лучевые кости, три рёбра, несколько позвонков, принадлежавших мужчине в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти лет, погибшему лет за семь-десять до того. Давность лет и захламлённость университетских архивов вкупе со страшной текучкой кадров делали практически невозможным выяснение обстоятельств дела, да и кто бы мог проверить эти обстоятельства, даже их восстановив, если я, даже я, прожив со Стефаном годы, всё ещё больше жизни любя и лелея каждую клеточку его сухощавого тела, каждый извив его такой, в сущности, несложной, пустоватой души – не знала, как и зачем он убил тогда невзрачного, безобидного Боровского в аллеях закрытого на ночь парка. Я знала только как сорвалась, как полетела к нему на помощь, когда услышала в трубке его непривычно взволнованный голос, как придумала раздеть труп и по частям выбросить одежду в разные контейнеры для Армии Спасения, как резала маникюрными ножницами кредитные карты Боровского, как жгла в мангале на балконе его паспорт и каким привкусом пропитались поджаренные на этом огне шашлыки. Как знала и то, что сейчас сделала бы то же самое. Потому что крепка, как смерть, любовь. И чем смертельнее в замесе, тем крепче.

Марина Васильева

Внизу

В детстве я провалилась в подвал старого недостроенного дома.

Мне нравились разрушенные дома. Магнитом к ним тянуло. А потом притянуло гравитацией сквозь дыру в полу.

Я не сразу поняла ситуацию. Свет падал пятнами из дыр в стенах наверху, подсвечивал траву, которой заросла земля, закрытую комнату пространства и ровные стены, по которым невозможно забраться.

Надо мной был выход прямо на улицу. В маленькую дыру я видела, как деревья машут мне листьями на фоне голубого неба, но не могла достать. После множества попыток до меня дошло, что я сама не выберусь. Детское «ещё чуть-чуть» долго не отпускало, а когда отпустило, я осмотрелась.

Пришёл страх – робкое крадущееся чувство, только начало.

Было тихо, невероятно тихо. Бетонные плиты словно впитывали звуки, идущие снаружи, и эхом множили хруст камней под ногами, оставляя меня в гулкой изоляции.

Страх буквально заполнил моё тело как холодная вода, он вызывал паралич. Я чувствовала: другая часть подвала, где было меньше света, к которой я долго простояла спиной, ожила. Словно само существо страха заполняло воздух и пялило в меня свои водянистые глаза. Чем больше меня парализует – тем оно сильнее.

Заставила себя сделать круг, чтобы вернуть себе ощущения тела. Тихо, крадучись. Я пыталась не издавать звуков, таилась как кролик. Только волк был невидим и, казалось, атакует на слух.

Помню, как в углу лежала тряпка, стёганный ватник синего цвета. Фантазия добавляла ему значения, и я познакомилась с одним из лучших друзей страха – отвращением. Страх придаёт мерзотность даже нейтральным предметам. И вроде ничего страшного в ватнике нет, он был относительно чистый, не рваный – не жженный, но на нём я дольше всего задерживала взгляд.

Победив паралич, я отвоевала подвал. Шаг за шагом. Осмотрела каждый угол, чтобы убедить себя – здесь нечего бояться. Свыклась. Наверное, так правильно сказать.

Первичный страх отступил. Я сняла с себя его покрывало и увидела подвал в другом свете, в следующем слое, более детальном. Стены стали знакомыми, я смогла их рассмотреть. Заметила их чистоту – ни следов баллончика, ни копоти, какие были во всём здании... Сюда редко забирались.

Потому что выбраться сложно.

Рядом со мной, под выходом, рос сеянец клёна. Я была ребёнком и искала в этом знак. Я думала, что мы друзья. Ну не может же это быть совпадением! Он внизу и я внизу. Представляла, как через много лет он вырастет, я смогу забираться по нему, а это место будет моим тайным, потому что только я буду знать про дерево. Собиралась провести его в следующем году, не забыть. Наличие друга успокаивает.

Солнечные пятна сместились. Переползли с земли на стены. Взгляд на небо по-прежнему резал глаза яркостью, но ход времени уже тушил свет. В подвале сумрак сгущался.

Когда я это заметила, на меня нахлынула волна ужаса. Ужаса неизбежного. Вечер неминуемо настанет, а за ним и ночь. Я боялась синей черноты. Дома ночью я просила маму принести попить, потому что мне было страшно вставать с кровати, а здесь... я серьёзно думала, что могу впасть в кому от страха. И это для меня было желательным вариантом. Отключиться от реальности, закрыть глаза и ничего не видеть, быть не здесь.

Страх будущего отличается от страха в настоящем, он заставляет думать и действовать.

Была ранняя осень, первые сентябрьские дни, когда дети ещё имеют летнюю привычку долгих прогулок. Училась во вторую смену, шла со школы и свернула с пути. Дома меня хватают только с наступлением темноты, да и навряд ли пойдут искать сюда. Это здание было далеко от дороги, на заросшем строительном пустыре, близко никто не подходил.

Поэтому нужно пробовать, придумывать новые способы. Я так решила. Пока делаешь что-то, страх притупляется. Я готова была прыгать всю ночь, верила, что смогу. Детское упрямство. Выдохлась быстро и облокотилась на стену.

Когда шлейфом спал и этот страх, я увидела, что стены не только чистые от надписей, но и кишат пауками. Видать, под вечер пауки начинают выползать из нор. Некоторые забрались на меня и щекотали шею, карабкались по юбке. Вскрикнув, я начала их скидывать. Эхо больно резануло уши, нарушило резолюцию молчания.

Я не стала топтать пауков, потому что их было слишком много. Я просто видела их количество и надеялась на мировую: я их не трону, а они – меня. «Мы с тобой одной крови», наивный компромисс. Страх, заставляющий лебезить.

Только страх пауков не успел перерасти в трусость. Когда страхов много, побеждает сильнейший, и уходящие солнечные лучи создали перевес. Мне надо было выбраться до темноты! Предохранитель перегорел. Вместо страха пришла злость.

Я помню, как страх пауков умер. Его словно раздавили, как самого паука, с чавкающим хрустом. Они разбежались под ногами рыжими точками, волочили свои тяжёлые тельца на тоненьких ножках. Мерзкие, да. Но они ничего не могут сделать, я сильнее.

Я чувствовала себя героем. Победа над одним страхом внушает презрение к остальным обстоятельствам. К паукам, к ватнику, к темноте, которая уже ползёт из углов. Ко всему.

Я просто сильнее.

Натянула рукава кофты на ладони и снова разбежалась, чтобы допрыгнуть, как в окне наверху показался силуэт. Мужчина вытащил меня из подвала. Как оказалось, он услышал мой единственный крик. Чистая случайность. Среди всех своих страхов я забыла самое главное – что надо кричать, чтобы тебя слышали.

Поблагодарила спасителя и сбежала.

В тот день я нашла самое приятное в страхе – победу над ним.

Исаак Розовский

Ночь, когда забрали маму

В ту ночь Рува проснулся от внезапного яркого света. И на всю жизнь запомнил ощущение невероятного счастья, охватившего его. В детстве зрение ведь не сразу восстанавливает привычную чёткость и яркость. Нет, мир вокруг какое-то время ещё двоится, троится и радужно переливается. Этот миг можно даже немного продлить, плотно сжимая веки.

Да что там зрение? Всё тело пребывает в блаженном оцепенении. Требуется немалое усилие, чтобы вернуть ему привычную упругость, силу и подвижность. А это срочно надо сделать, ибо трое незнакомцев в комнате, и один из них – в настоящей чекистской кожанке – это же папа! Никогда прежде не виденный папа!

– Папа! Папа приехал! – радостно кричит Рува и жмётся к нему, и льнёт, и обнимает руками за пояс (выше он не достаёт). А папа смотрит сначала настороженно, но потом взгляд его теплеет. Он глядит на сына, а рука останавливает спутника, говорящего: «Товарищ капитан, я пацанёнка-то уберу?» Он проводит пальцем по кончику Рувиного носа, задранного вверх, где почти под потолком улыбается папино лицо, и сын чувствует себя на седьмом небе от этой немудрёной ласки.

Да, отец со своими друзьями вернулся из долгого похода. Но что, спрашивается, делают в их комнате дворник и его зевающая жена? И почему всё перевёрнуто вверх дном, и вещи валяются в полном беспорядке? А мама сидит на стуле скучная, а совсем нерадостная? И машинально перебирает руками лифчик, который, видимо, забыла бросить в тюк у своих ног?

Нет, что-то не так. Вот и мать в своей любимой кофточке с едва заметным простеньким узором, который Рува так хорошо изучил, бессчётное число раз прижимаясь к её груди, когда случались детские несчастья и обиды, вдруг зовёт его со стула: «Сыночка, подойди...»

Он неохотно отлепляется от папы, подходит к ней. Губы у неё прыгают, и она скороговоркой начинает шептать ему в ухо что-то дикое и невообразимое: «Я сейчас должна буду уйти... ненадолго... просто глупая ошибка... разберутся... Вернусь завтра или послезавтра... Тебя сейчас тоже увезут. Ты же не можешь остаться один в доме, так ведь? А там будет много детей, и ты с ними будешь играть. А потом я вернусь, и заживём, как прежде...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.